

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### 1. К ПОВЕСТИ «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДЕВУШКИ»

а) К стр. 356

«Тихий голос»

*Повесть*

*Посвящается Виктории Ивановне П-ой*

Вечер первый

Хозяйка дома принесла из кабинета мужа тетрадь, подала ее молодому человеку в золотых очках, сидевшему на диване, и села подле него. Сестра хозяйки, также села на диван; господин с черною бородою придвинул свое кресло, и молодой человек в золотых очках начал читать:

*«История одной девушки» и т. д.*

б) К стр. 422

### VII.

«Счастливые годы»

— Новая глава! — сказала хозяйка: — Довольно. Отложим до завтра. Приезжайте опять и вы, Онуфриев. — Уж двенадцать часов; пора закусывать и потом, господа, по домам.

Молодой человек в золотых очках сложил рукопись, которую читал.

— Характер рассказчицы обрисовался слишком прозаическим, — сказал нестарый господин с черною бородою: — слабые движения чего-то похожего на поэтические и живые стремления заглушились в ней полным примирением с узкою, пошлою моралью маменек и тетушек. Тенденция ее очень реакционна: всякий порыв в жизни — безрассудство и гибель для женщины; надобно хозяйничать, спать, слушаться маменьки, выходить замуж по указанию маменьки; любовь даже к мужу позволительна только как привычка, после нескольких лет жизни с ним и приобретения по крайней мере пары детей от него.

— Да, рассказчица очевидно думает, что самая безопасная дорога: итти по правилам старосветской нравственности и рассудительности. Ошибается ли рассказчица — сомнительно, — сказал молодой человек в золотых очках: — Я полагаю, что рассудительность — прекрасная вещь для женщины, как для мужчины.

— Пошлость, называемая рассудительностью, — горячо сказал господин с черною бородою: — эта повесть панегирик всему отсталому, неподвиж...

— Пойдемте-ка лучше закусывать, Онуфриев, — сказала хозяйка: — Друг мой, иди закусывать, — прибавила она громко, подошедши к двери кабинета.

— Иду, — отозвался муж.

### Вечер второй

Когда Онуфриев приехал на следующий вечер, его встретил один хозяин.

— А! Дослушивать повесть! — Ну, жены и сестер еще нет дома: с обеда уехали с Благодатским кататься по островам и вот запропали до сих пор.

— Софья Васильевна, кажется, очень жалует Благодатского, — сказал Онуфриев.

— Ужасно любит его, — отвечал хозяин. — Да он и стоит. Самый полезнейший для нас человек. Я чрезвычайно рад, что она познакомилась с ним.

— Что это вдруг напала на Софью Васильевну любовь к литературе? Кажется, до сих пор она никогда не дотрагивалась до ваших рукописей.

— А видите, третьего дня, госпожа, которая дала нам эту рукопись, была у меня. Жена сидела тут; эта госпожа понравилась ей.

— Что ж это за госпожа?

— Как вам сказать? Ничего особенного, кажется; а впрочем, не заметил. Хороша впрочем тем, что нет, повидимому никаких претензий; скромная — то есть, на счет своего рассказа. Говорит только: «Пожалуйста, напечатайте»; ну, это желание натуральное.

— Да, я не о том. Какова лицом, молодая?

— А! Ну, этого, признаться, не заметил. А впрочем, позвольте, припомню.. Кажется, не очень стара.

Онуфриев убедился в десятый раз, что совершенно напрасно спрашивать хозяина о чем-нибудь подобном наружности человека, а в особенности женщины, и стал говорить о последней книжке «Отечественных Записок». Хозяин слушал.

Хозяйка, ее сестра, сестра хозяина приехали. С ними молодой человек в золотых очках.

— А, вы уже здесь, Онуфриев! — Итак, дочитываем, Благодатский, за дело.

Молодой человек в золотых очках пошел один в кабинет, принес оттуда рукопись, сел и стал протирать очки.

Хозяин, видя, что тотчас начнется чтение, ушел в кабинет.

Благодатский начал.

(Повесть. Продолжение)

в) К стр. 455

— Позвольте, я ошибся: это зачеркнуто, — сказал Благодатский<sup>3</sup>, перерывавая страницу: — что такое? Дальше белые листы: повесть не кончена.

— Не кончена, — сказала хозяйка.

— А скоро обещан конец? — спросил опять Благодатский.

— Она не хочет дописывать, — сказала хозяйка.

— Где она живет? — Я съезжу к ней, попрошу дописать: эта повесть годится для наполнения книжки за недостатком лучшего.

— Да муж говорил ей, что нельзя напечатать без конца. Она не согласилась дописать.

— Теперь верю, что автор женщина, — сказал Онуфриев: — начало без конца, и хочет, чтобы напечатали.

— Не ей, а мне хочется, чтобы это напечатали: она очень понравилась мне. Она и за это боится, что назовут безнравственным, а дальше писать — никак не решается. — Послушайте, Онуфриев, будьте милый: прибавьте окончание. Вы написали романы, которые все хвалят.

Онуфриев засмеялся. — Я не умею писать чужих повестей, Софья Васильевна.

— Ну, вот. Пожалуйста. Когда я прошу вас.

— Не могу, Софья Васильевна; потому что не умел бы продолжать так

рассудительно и хозяйственно. Любовь, увлечение, поэзия — этим извиняются ошибки женщины; но тут нет ничего подобного. Болезнь и предписание медика не дают нравственного оправдания развязке, которую легко предвидеть.

— Я не думала, что вы такой моралист, Онуфриев. Если вы так строг, зачем же вы пишете романы? Пишите проповеди.

— Нравственность может быть забываема для поэзии. Но я сказал: здесь нет поэзии, потому нет извинения.

Хозяйка переменила разговор. Она была, очевидно, в неудовольствии на Онуфриева и сделалась очень суха с ним. Потом стала говорить исключительно с кузиною и сестрою. Благодатский встал и пошел в кабинет. Через несколько времени Онуфриев последовал его примеру. — Тогда Благодатский возвратился.

— Благодатский, зачем вы расхваливали его последний роман? — Я читала: скучно. Я думала: верно, не понимаю. Но вот поговорила с вами и вижу: он глуп. Вы виноват, Благодатский: зачем хвалили его, и ввели меня в такую ошибку. Начать читать при нем, и просить, чтоб он дописал. — За это вы должны сам дописать.

— Извините, Софья Васильевна. Только я не умею придумывать ни происшествий, ни лиц. Вы скажите мне, что написать, и я напишу.

— Хорошо. Я все знаю, что дальше.

— Но прежде дочитаем, что тут зачеркнуто: еще довольно много.

— Тут о дуэте; я сказала бы это в двух словах, а у ней длинно. Но все равно, пожалуй, читайте.

Благодатский опять раскрыл тетрадь и стал читать:

#### 2) К стр. 456

— Продолжайте теперь, Софья Васильевна, что она говорила вам дальше, — сказал Благодатский, положив тетрадь.

— Она стала грустить о своем потерянном здоровье, вспоминать как проходила ее бедная жизнь: ни одной своей радости. Так ли живут другие? Ей стало думаться, как весело идет жизнь ее соседок: видно, что все три заинтересованы кем-нибудь, любят, любимы; бедная! — ей сделалось так грустно, что она стала плакать. Очень много плакала; почувствовала, что с нею начинается истерика. Пошла вскоре домой. И возобновилось то, что предсказывал ей Левандовский.

— Но, — продолжала хозяйка пересказывать слова новой знакомой, которая понравилась ей: — но, говорит она, эти грезы очень разлились от прежних, в своих больных мечтах, ей грезилось не то, что знакомые люди, а как это называется, Благодатский? — фантомы? — Бог знает какое лицо и довольно неопределенные черты. Разумеется, кого ж она тогда стала представлять себе? Этот Аркаша, как она зовет его, был ей все равно, что брат и, кроме того, жених ее сестры, а из остальных никто не нравился ей: все пошлые, с дурными манерами, необразованные, глупые, противные. А теперь ей стал грезиться Озерецкий.

Если бы вы знали, как мне было стыдно, что я думаю об Озерецком, — говорит она. Лучше бы думать обо всяком другом. Как же, Благодатский, не так? — Должно быть правда. Какие же были между ними отношения? Самые дружеские, бесцеремонные, конечно, как будто они родные. Мне было ужасно совестно перед собою, что и дружба к нему не отгоняет у меня таких мыслей о нем, говорит она: и хоть бы когда-нибудь прежде он сказал мне какую-нибудь любезность! — О ней самой, разумеется, нечего и говорить, Благодатский. А тут, вот что! — Мне, говорит, казалось, будто я изменяю ему, предательница: он думает о ней так хорошо, а она видит его в своих мечтах.

Но, — говорит она, — я долго скрывала; а он ничего и не предполагал. Еще бы, Благодатский! — когда она была такая солидная и они были между собою хороши, вот как мы с вами! В самом деле, вообразите, что я стала бы мечтать о вас, или вы обо мне — хорошо бы это было? Да и могло бы, например, притти вам в голову, если бы я... — да нет, нет, я не гожусь в при-

мер: я не такая, — а вот, Леночка вдруг стала бы мечтать о вас, — каково б это было? — и могло ли бы это притти вам в голову?

А между тем, это продолжалось и все усиливалось. Наконец, ей стало думаться: не выдержу я этого; скоро опять свалюсь, как в тот раз. А тогда она перед тем, как слегла, была очень сильная, крепкая; теперь какая ж сила была у нее, когда она должна была садиться отдыхать, прошедши версту? — Она стала думать: в этот раз я не перенесу. И в самом деле, где ж бы перенести, когда едва перенесла и тогда? Она стала думать: за что ж я умру? — Разумеется, не хотелось умирать. Все плакала, а это еще больше расстраивало ее, припадки делались чаще, сильнее. По целым дням терпела адское мученье.

Но, говорит, все-таки у меня было твердое решение: лучше умру.

Знаете, Благодатский, она, точно, вовсе не красавица, но лицо очень милое. Я спрашивала ее: а в этот раз вы не подурнели, как тогда? — Она ничего не говорит. Но, конечно, отчего ж ей было подурнеть в этот раз? Тогда у нее была сила; поэтому были и красные пятна на лице. А тут, какие уж пятна! — Я думаю, была бледная и очень интересная.

Так она все и думала: лучше умру. А брат и все ничего не предполагали. Только видели, что она стала очень больная и хилая. Знаете, когда брат пожил с нею год и увидел, какая она всегда солидная и холодная, то совершенно поверил словам матери, что она больна вовсе не от той причины, которую он полагал сначала, когда не видел ее. Он совершенно не догадывался и говорил ей: «удивительно, как любишь ты своих. Ты хилеешь оттого, что соскучилась о матери, сестре. Надолго я не отпущу тебя к ним, потому что у них опять одолеет тебя тоска. Но съезди на месяц, когда установится зимняя дорога». Он говорил о зимней дороге потому, что была уже осень, когда стали замечать, что мое здоровье опять становится хуже. — Видите, если он прежде и думал что-нибудь, то, поживши с нею, бросил и воображать, что у нее могут быть другие чувства, кроме привязанности к родным. Такая солидная и прекрасная была она, или прозаическая, по выражению вашего Онуфриева. Я не прошу вам, Благодатский, что вы так расхвалили его роман и навели этим меня на мысль начать читать, когда он приехал: будто он сумел бы, если б и согласился, досказать как следует, когда так глуп?

— Но его роман хорош, — сказал Благодатский.

— Никогда не стану верить вам. Я читала: страшная скука. Думала: не понимаю.

— Чем бранить Благодатского, лучше досказывай, — сказала сестра хохляки.

— Нельзя не бранить его, Леночка. — Я сказала, как рассуждал ее брат. А она — что ж оставалось ей? — она думала, придет зима, поеду к родным; только не за тем, чтобы вернуться в Петербург. Мне уж недолго жить. Там, по крайней мере, нельзя мне будет мучиться тою мыслью, что могу спастись, если захочу. Это все же легче, когда нет и возможности иметь другие мысли, кроме тех, какие должно иметь, и когда чувствуешь, что погибаешь не от своей воли. — И правда: там ей было бы не о ком думать и легче было бы умирать. А она видела, что ей надо ждать смерти. В тот раз, когда она лежала зиму после свадьбы сестры, с нею не бывало, чтобы расстройство доходило до этих припадков, которые похожи на летаргию, — знаете, когда больная лежит как будто уснувши от хлороформа и не чувствует боли, хоть режьте, хоть жгите; как это называется, Благодатский? — она сказывала, да я забыла.

— Катаlepsия.

— Так. Прежде, даже и в самое время кризиса, у ней не бывало катаlepsии, а теперь она еще ходила, не слегла, а уж бывала катаlepsия. Что ж будет, когда в этот раз болезнь дойдет до полной силы? Понятно, тут нечего было ей надеяться, что перенесет. А пока припадок истерики доходил до этой катаlepsии, сколько надобно выстрадать! — Какова должна быть боль, чтобы довести до такого онемения.

Разумеется грезы, как она их называет, не могли быть очень горячи при таком страдании. Они стали бывать у нее с лета, как она и сказала там, в

конце; но, говорит она, они были слабы, если сравнить их с прежними, какие бывали перед свадьбой сестры; и сначала, с лета, до половины осени, усиливались понемножку, а потом стали ослабевать, между тем, как припадки делались все жесточе. Видно, что у нее, бедняжки, силы было уж очень мало. Куда тут гореть да пылать! — не с чего.

Но, — говорит она, — чем меньше я становилась подвержена страстному чувству, тем больше думала о своем образе жизни; и уже совершенно хладнокровно, рассудительно. Не хотелось умирать. Но, говорит, все стыдилась того, что против воли жалею о жизни, что против воли мне хочется быть здоровою. Такая бедная она, все осуждала себя. Поэтому-то, главным образом, она и не хочет продолжать то, что начала писать; говорит: «пришлось бы писать эти мысли, а я боюсь, что они нехорошие». Если бы вы посмотрели на нее, Благодатский, она понравилась бы и вам. Вы знаете я терпеть не могу ученых дам или барышень. А она мне понравилась: простая.

— Но вы будете знакомы с нею; познакомлюсь и я.

— Должно быть, что буду. А, впрочем, не знаю: что мне с нею делать? — слишком смирна. Положим, она мне нравится: но она не пара мне. Познакомьтесь вы сам: будете рассуждать о своих разных «вопросах», как вы их называете. Вот, когда допишете, повезите ей корректуры.

— Хорошо. Досказывайте же.

Хозяйка продолжала.

— Когда она, бедная, думала о том, что не хочется ей умирать, она тоже, как и в грезах, которых у нее почти уж и не было, думала об Озерецком. Но это вовсе не было похоже на то, чтоб она была хоть сколько-нибудь влюблена в него: помилуйте, у нее вовсе не такой характер, чтобы сходить с ума. А он нехорош собою и не нравился ей лицом. А главное, у них уж давно были такие отношения, что и очень глупы были бы какие-нибудь романтизмы: свой человек, она держит себя с ним запросто: какие тут влюбленности? — все равно, вот как мы с вами. — Почему ж, я говорю, вы думали о нем, когда он не нравился вам лицом? — «Не знаю, — говорит, — почему; разве только потому, что он был очень добрый и скромный, очень тихий». — Я думаю, Благодатский, что именно поэтому: очень смиренный. Да еще б он не был скромный, когда она всегда держала себя строго и холодно, а он был совсем юноша: двадцать три года, тремя годами моложе ее. Не то, что сказать ей какой-нибудь комплимент, он даже побаивался ее. Впрочем, Благодатский, хоть он и был очень смиренный, но вовсе не глупый: напротив. И занимался. Был учитель не знаю где-то и ему хотелось получить место в каком-нибудь университете. Выдержал экзамен; какой это? магистерский? — да, так. Узнал в ту осень, что есть вакансия в Киеве или там где-то, не помню, и подал просьбу.

Так вот, Благодатский, она все и думала: лучше умру. А брат ничего не замечал, а Озерецкий тем меньше.

Только однажды, — это было уж поздно осенью — сидит она и думает: зачем я страдаю? зачем я умру? Не от меня ли зависит? Кому будет вред? — Нет, лучше умру? Ей думалось это особенно сильно, потому что ночью был с нею ужасный припадок и без всяких грез — куда уж! — и к утру сделалась — как вы назвали? — каталепсия? — да, так. Разумеется, брат возился с нею; к обеду прошло. Вот, после обеда она сидит и думает. В это время входит Озерецкий. — А что, Лизавета Арсеньевна, не сказывал вам Григорий Арсеньич — это ее брат, вы помните — не сказывал вам Григорий Арсеньич, скоро он придет домой? — Кухарка, когда отворяла ему сказала, что Григория Арсеньича нет дома. — Она отвечает, что брат сказал: «если не вернусь в восемь часов, значит, проехал к Иванову», или Федорову какому-нибудь, к какому-то их знакомому, — «и оттуда проеду уж прямо к Аносову, не заезжая домой». — Вы помните, Аносов — это другой самый близкий их приятель. У Аносова в тот вечер должны были собраться знакомые. — Озерецкий посмотрел на часы и говорит: «Уж семь. Я подожду его, Лизавета Арсеньевна, потому что мне надобно видеть его. А к Аносову не поеду: у него засидишься до трех часов, а у меня завтра урок в девять, надо встать в седьмом, пересмотреть ученические тетради, самому немножко приготовить. Если

не дождусь теперь, то уж нечего делать, зайду завтра. А надобно бы видеть ныне. Подожду». — Она почувствовала как будто испуг и в то время, как только услышала его голос в передней, а при этих словах: «я подожду здесь» она затосковала. Но что ж отвечать? Не показать же, что ей страшно. Да она и была уверена в себе. Он, разумеется, ничего не замечает: чего замечать? Сколько вечеров он сидел с нею. Начинают говорить; ее страх стал вовсе проходить. Думает: как не стыдно было испугаться за себя? Будто в самом деле я безрассудная и не могу владеть собою? — Вдруг, входит кухарка, — а у них вся прислуга была одна кухарка: их только двое с братом; и притом же, она сама и пыль сметет везде, и окна вытрет; она даже находила удовольствие в этом: привыкла, да и от природы заботливая о порядке, хлопотунья. — Вот, я говорю, они сидят себе, и она было успокоилась, но входит кухарка: «Лизавета Арсеньевна, я поставила самовар; прикажите подать, хоть немножко и рано, и отпустили бы меня, я попросилась бы у вас: кума именинница, звала». — Тут она опять встревожилась. Но как и отказать? — Всегда отпустила по вечерам без оговорок: почему же не хочет теперь? Что подумают? — «Боятся». Но все-таки чувствует, что лучше не отпустить: слишком страшно ей за себя. Сказала: «нет, подождем брата пить чай, и не уходи». Кухарка приучена не к тому, пристаёт: милая барышня, добрая барышня, отпустите! — И Озерецкий тоже: «Что это, какая немилостивая вы, Лизавета Арсеньевна? — Если придет Григорий Арсеньич, то не в первый раз ему будет самому принести самовар на стол, а не придет, я принесу. Отпустите ее». — Она и побоялась не согласиться: знаете, когда мысли смущены, то человек все опасается, как бы не подать повода к подозрению. И опять ей стало стыдно за себя: что это будто у нее нет характера? Чего она тревожится? — «Хорошо, иди», и встала, чтобы запереть кухонную дверь за нею. — Озерецкий говорит: «Позвольте, Лизавета Арсеньевна, что ж вам беспокоиться? Я могу пойти, запереть; слава богу, не гость» и пошел выпустить кухарку. Когда щелкнул ключ, в груди у беднейшей стукнуло и будто охватило ее огнем, но тотчас же она подумала: «что это, даже смешно так опасаться за себя». — Он вернулся, проводивши кухарку; разумеется, ничего не замечает: помилюйте, с чего ж бы ему вообразилось? — разговоривают; она стала опять ободряться, думать как не стыдно мне быть неуверенной в себе? — но вот: раз, два, три... бьют часы; как зазвенело это: раз!.. ее бросило в тоску, в ужас: она знает, это восемь часов! — брат не придет! — А Озерецкий: «Григорий Арсеньич, должно быть не придет. — Да что это, Лизавета Арсеньевна, как вы стали хила? Вздрогнули и побледнели оттого, что бьют часы! Когда же это бывало с вами?» — и начинает жалеть о ней, распрашивать не имеет ли она каких-нибудь огорчений, что опять расстраивается ее здоровье, которое начинало поправляться; упрекает ее брата, зачем он не убеждает ее посоветоваться с медиками; все говорит о ее болезни, и не воображая, в чем ее болезнь, и отчего: помилюйте, кто же не видел, какая она холодная, как она благоразумна? — Она слушает, старается отклонить его от этих расспросов и сожалений, — он, конечно, не понимает ничего и все толкует свое; говорит с искренним участием; а у нее, бедняжки, тоскует сердце, он не дает ей отвлечься от мысли: «умру; зачем? кому был бы вред?» — и его участие трогает ее... готова расплакаться; но знает, что это не годится для нее: доведет до истерики, тогда рассудок может изменить. Остается совершенно тверда: «Лучше умру!» — «Взгляните, пожалуйста, Павел Иванович, что с нашим самоваром? — если не погас, несите: будем пить чай; я чувствую себя несколько усталою, и хочу поскорее уснуть». — Он говорит, что если она утомлена, то и надобно пораньше лечь спать. Ушел в кухню; возится с самоваром, — вошел, смеется: «не браните меня, что я буду хлопотать с ним долго: он совсем погас, а я давно не ставил, разучился». Опять ушел в кухню, возится там, и довольно долго: разумеется, не умеет. Она сидит одна; сначала еще довольно умна, но чем дольше остается одна, тем печальнее становится, бедная: не хочется умирать; навертываются слезы. — Слышит: он несет самовар на стол в зал, отпирает буфет, вынимает чашки, чайницу, все это; разумеется, свой. А она сидит в комнате у себя, думает: «он уйдет, я должна буду умереть», и заплакала. — Но отерла слезы,

пошла в зал к нему. — Пьют чай и говорят. Он выпил один стакан, встал: «Прощайте, Лизавета Арсеньевна». — Она рада, что он уходит; подала ему руку: «прощайте, Павел Иванович», но зарыдала и бросилась в свою комнату. Он пошел за нею: «Что такое с вами, Лизавета Арсеньевна? Вам дурно?» — «Нет, это ничего, — говорит она: — Не тревожьтесь, Павел Иванович; идите; я лягу и засну». — «Помилуйте, Лизавета Арсеньевна, как же я брошу вас одну? Вы уж и прежде говорили, что чувствуете себя нехорошо». — Она и хочет перестать плакать, но не может; а все только говорит: «Не тревожьтесь, это ничего; пожалуйста, уходите, оставьте меня одну: не бойтесь». — «Вы говорите, Лизавета Арсеньевна, что хотите прилечь чтобы заснуть; это действительно лучше всего. Но бросить вас одну я боюсь. И опять же, придет кухарка, вам надобно будет проснуться, впустить ее. Зачем же так? Я уйду в кабинет Григория Арсеньича, подожду, пока он придет, буду читать. А вы почивайте. Совсем уйти не могу: нельзя бросить вас одну». — Конечно, он не мог послушаться: как бросить ее? — Ушел в кабинет брата. — Чем дольше, тем тоскливее мучит ее жалость о жизни. Но все тверда. Думает: умру; умру; за что, зачем умирать? кому же будет вред? — Нет, лучше умру! — Бьет десять часов, она все плачет, плачет: лучше умру! Если бы поскорее вернулась кухарка! лучше умру! Грудь у нее начинает надрываться; она прижимает к губам платок, чтобы не было слышно Озерецкому, но иногда уже не может она удерживать грудь, чтобы не всхлипывать. — Видит, что с нею начинается делаться дурно, что скоро начнет стонать. — «Если бы скорее вернулась кухарка! Лучше умру! — успокоюсь и пойду скажу ему, что прошло, пусть уйдет». — Но посмотрела в зеркало, нельзя идти к нему: щеки, всегда бледные, стали румяные оттого, что много плакала; и не может отнять платок от губ: как переводить дух, так и слышно стон, потому что грудь сильно ломит. — «Лучше буду ждать, пока придет кухарка; теперь уж скоро она должна притти». — А сама зажимает губы платком, чтобы не слышно было как стонет: «она придет, а я должна умереть!» — «Она скоро придет, и я должна умереть!» — и недостало у нее силы, вырвался стон. Она страшно испугалась: «он услышал, он идет!» — бросилась к своей двери запереться, а он в эту минуту уже входит, и она упала ему на шею: «умру! умру! лучше умереть!» а сама обняла его и целует, и все плачет: «уйдите, оставьте меня! Лучше умереть! — стонет, обнимает, душит его: — умру! умру!»

Знаете, Благодатский, он был юноша; а она интересная, миленькая. Сама не помнит, что делает, рыдает и жмется к его груди, целует, вся горит. И у него мысли спутались.

И она, и он опомнились уже от страшного стука в дверь. Оба совершенно растерялись. Он побежал в кухню отворить. Кухарка входит встревоженная: «Что такое, батюшка Павел Иванович? Не дурно ли с Лизаветой Арсеньевой? Я звонила, звонила, не дозвонилась, оборвала звонок». — «Да, с Лизаветой Арсеньевой дурно; иди скорее к ней, ухаживать за нею»; — совсем потерял соображение: прибежал из кухни в зал, схватил свою шляпу и ушел. — Кухарка входит к ней, спрашивает, что такое было с нею, не так ли же дурно, как вчера, бранит себя за то, что уходила. — Она сказала, что теперь ничего, и отослала кухарку спать.

Оставшись одна, она все плакала, но тихо, спокойно; и заснула со слезами. Во сне ей представлялись ее родные: сестра, отец, особенно мать. Сестра и отец говорили: «мы никак не ожидали, чтобы она стала такая дурная»; когда она входила, они отвергивались от нее. Мать говорила: «Ты не дочь мне. Мы все отрекаемся от тебя». Она бросилась на колени, умоляла простить. Мать прогоняла ее.

Но поутру она умела казаться совершенно спокойною перед братом. Он, разумеется, и не воображал ничего. Пили чай, говорили как обыкновенно. В это время звонок. Входит кухарка, подает брату письмо. Он взглянул на адрес: «От Озерецкого». — Пробежавши письмо, подал ей. Озерецкий просил его сказать ей, что просит ее руки. Она отдала мне это письмо. Когда будете печатать, возьмите его у меня, — прибавила хозяйка Благодатскому.

Вот письмо Озерецкого:

«Вы должны были давно видеть, как сильно расположен я к Лизавете Арсеневне. Вчера я приезжал за тем, чтобы сказать ей это, — и не сказал. И теперь не решаюсь, не умею писать прямо к ней. Будьте вы, Григорий Арсеневич, моим адвокатом перед нею. П. Озерецкий».

— Я думаю, что очень мало таких благородных людей, как Озерецкий, — заметила сестра хозяйки.

— Когда она прочла письмо, — продолжала хозяйка свой рассказ, — брат говорит ей: «Это правда; он всегда был расположен к тебе; так что я, хоть вовсе и не ждал этого, но несколько не удивлен». — «И я тоже не удивлена, — говорит она брату: — Я напишу ему, что он делает совершенно юношескую глупость. Напиши и ты, что я несколько не сержусь, и чтоб он не вздумал огорчаться». — Она отдала мне и свое письмо к нему, — прибавила хозяйка Благодатскому: — Вы возьмете, когда будете печатать.

Вот ее ответ Озерецкому:

«Благодарю вас, добрый Павел Иванович. Но мне двадцать седьмой год, вам — двадцать четвертый. И была ли у вас когда-нибудь мысль жениться на мне? — Я не такая злая, чтобы согласилась губить вас.

«...Я очень страдала, добрый Павел Иванович, и должна была ждать смерти. Поэтому вы не осудите меня за то, что мне часто приходили мысли, которых я сама стыдилась. Я думала: зачем терпеть такие мучения? и за что я умру? Не должна ли я переменить образ жизни? — Но я никогда не хотела. Лучше я хотела умереть. И сама не знаю, рада ли я, или опечалена, что изменила своему решению.

«Вы никогда не нравились мне. Да и давно прошла для меня пора влюбиться. Но вы были самым близким другом моего брата; и вы знаете, что я имела очень большое расположение к вам. Поэтому, когда овладевали мною больные мысли, я думала о вас. О вас я думала и тогда, когда спокойно рассуждала, что перемена образа жизни избавит меня от мучений и отворотит смерть. Но я никогда не думала о замужестве: у меня не такое дурное сердце, чтоб я могла хотеть портить чужую жизнь для спасения своей.

«Я понимала, что, при невозможности замужества, перемена образа жизни ведет за собою много горького, обидного. Но на это была моя воля. Или, если не моя воля, то все же я сама подвергла себя судьбе, которой боялась. Вы тут не виноват, и я не могу допустить, чтобы совесть упрекала меня в эгоизме. Всякие другие неприятности гораздо легче для меня, нежели дурное мнение о собственном сердце».

— Она и благородная, и умная девушка, — сказала сестра хозяйки: — он стал бы раскаиваться. Нет ничего хуже неблагоразумного замужества.

Она взяла письмо брата, вложила в свое, послала, — продолжала хозяйка свой рассказ. — Само собою, и брат рассудил, что она поступила умно, отказавши Озерецкому; это было тем легче для брата, что он все еще и не воображал ничего. В самом деле, чему тут было удивляться, что юноша имел глупость влюбиться в девушку, с которою очень дружен? Брату казалось даже, что если б он вздумал замечать прежде, то давно видел бы, что Озерецкий влюблен в его сестру. — Брат уехал по делам; потом они обедали; попрежнему ничего особенного в мыслях брата. После обеда она ушла в свою комнату; брат, как обыкновенно, стал работать. Через час она слышит, брат идет к ней: «Лиза, я уйду; к чаю ворочусь». — Хорошо. Приехал; пили чай; ничего со стороны брата. Рано поутру на другой день кухарка будит ее: «Лизавета Арсеневна, братец просит вас встать». — Что такое? Тут она встревожилась. Идет к брату: «Что ты, Гриша, велел разбудить меня?» — Он, против обыкновения, поцеловал ее, и говорит: «Я вздумал переменить квартиру, Лиза; и уж нанял. Сейчас приедут извозчики. Укладывайся к перевозке». — Тут она поняла, что он знает; заплакала, бедняжка. Но он принял недовольный вид и сухо говорит: «Там у нас будет другая кухарка; эту я отпущу. Пока еще ничего не говорил ей, а тебе тем меньше надобности говорить с нею. Я скажу ей, когда поедем на ту квартиру». — Она опять заплакала, но не может ничего сказать ему. — «Лучше укладывай-ка вещи, Лиза», — тоже сухо сказал брат. После этого у них не было никакого разго-



вора. — Разумеется, кухарка догадалась тогда, увидевши Озерецкого таким растерявшимся, и донесла брату, когда он после обеда оставался один.

— Я думаю, что не очень много на свете таких благородных братьев, — заметила сестра хозяйки.

— Вот вам и вся история, Благодатский, — сказала хозяйка. — Теперь можно будет напечатать, если вы припишете к ее повести то, что я рассказала?

— Можно.

— Ну, я очень рада. А взгляните, сколько часов: нельзя ли подать закуску; этот ваш Онуфриев, — ах, какой болван! — Я думаю, надоел мужу. Да и некогда мужу говорить с дураками.

— Одиннадцать, — сказал Благодатский.

— Рано; но все равно, чтобы избавить мужа от него. Идем.

Все трое пошли в столовую готовить, или помогать готовить закуску.

— Да, мы совсем и забыли, Благодатский: у ее повести нет заглавия; надо придумать.

— Ты говоришь, она скромная, смиренная, — сказала сестра хозяйки: по этому не назвать ли повесть: «Тихий голос»?

— Назовем, — сказала хозяйка. — Нравится вам, Благодатский?

— Ничего, годится.

— Я могу полюбопытствовать и спросить: чем будет кончаться рассказ, который остался не дописан автором, — обратился Онуфриев к хозяйке, когда они закусывали.

— Я не умею говорить поэтически, — сказала хозяйка.

— Развязка — та самая, какую вы предвидели, — сказал Благодатский: — Эта бедная девушка наконец утомилась мучением и, под влиянием страха приближавшейся смерти, переменяла образ жизни.

— Она выдержала характер? бросилась в объятия мужчины не по увлечению, а от физического страдания и страха смерти? — сказал Онуфриев: — прекрасный мотив! он совершенно оправдывает ее.

— Я не знаю, перед кем ей оправдываться, — сказал Благодатский: — перед вами? Но если не ошибаюсь, она не имела счастья иметь вас ни отцом, ни мужем.

— Это софизм. Если я высказываю мнение, то не как отдельное лицо, а как представитель общественной нравственности. Но далее? — Вероятно моральная идиллия: медицинское требование узаконено свадьбою? Или плач о том, что общество имеет слишком мало снисходительности, а мужчины слишком мало расположены жениться?

— Если б я и вы не были здесь гостями, я сказал бы то, что печатал много раз; но не желаю делать неудовольствия хозяевам, прошу вас перечитать страницы мои о морали, которая господствует у писателей с ретроградными тенденциями.

— Вы причисляете меня к ним? — Но кто же хвалил мой роман?

— Не в первый и не в последний раз я выставляю в произведениях нашей литературы мысли, которых не было в головах авторов. Что же делать? — обязанность критики — объяснять произведение людям, которые не понимают его, и не вина критика, если в число этих людей попадает иногда и автор. Не каждый умеет написать то, что хочет; иной, например, восхищается лежаньем на боку; разберешь его панегирик заспанному ленивцу, и публика, и сам он увидит, что тунеядство и сон не особенная добродетель; довольно этого; критик не обязан угощать публику своими соображениями о лице автора и домашними дрязгами о том, что автор не понимал смысла картин, которые изображал\*.

— Вы напрасно свели вопрос на личные отношения. Я всегда скажу, что мой роман обязан вашему разбору частью своего успеха. Я все не хотел

---

\* «Само собою, это место, относящееся к Обломову и статье Добролюбова о нем, должно выбросить, если автор Обломова ведет себя честно», (Прим. Н. Г. Чернышевского.)

входить в отвлеченные вопросы, я хотел только узнать, чем же кончается рассказ, начало которого вы читали при мне.

— Если так, то можно было спросить иначе.

— Уверю вас, вы напрасно увидели в моих словах насмешку. — Итак, эта девушка переменяла образ жизни, по вашему выражению; что было дальше?

— Девушка рассудительна, она не могла вверить свою репутацию человеку нечестному. Он и поступил, как честный человек. Совершенно неожиданно для себя ставши ее любовником, он сделал ей предложение. Они и прежде уважали друг друга, были короткими знакомыми. Но все-таки она имела благородство и благоразумие отвечать ему, что не может связывать его: он был моложе ее.

— Далее?

— Что было дальше, я не знаю. Без сомнения, продолжались отношения, в которые неожиданно стал он к ней. Так? — прибавил Благодатский, обращаясь к хозяйке.

— Да, — сказала она.

— Этот молодой человек искал места в провинции, — продолжал Благодатский: — вероятно, получил и уехал, — и не ехать же было ей с ним; или если он и остался в Петербурге, вероятно, через несколько времени влюбился в девушку, которая более пара ему по летам; в том и другом случае лицо, жизнь которого рассказывается автором повести, должно было расстаться с этим молодым человеком; как это было на самом деле? — опять обратился Благодатский к хозяйке: — Озерецкий уехал или женился?

— Через полгода он уехал, — сказала хозяйка.

— Надобно думать, что они были уже довольно сильно привязаны друг к другу, — продолжал Благодатский предположения, выходящие из характеров лиц, о которых пришлось ему писать: — вероятно, Озерецкий снова упрямившись согласился на замужество; если так, она опять не согласилась.

— Так; он возобновлял свое предложение, — сказала хозяйка: — она попрежнему отвечала: я не хочу расстраивать вашу жизнь; вы скоро раскаялись бы: мы не пара по летам.

— Вероятно, эта твердость была довольно мучительна для нее, — сказал Благодатский.

— Да; ей было очень грустно расставаться с ним, — отвечала хозяйка.

— Я думаю, что было бы странно с ее стороны возвращаться навсегда к прежнему, гибельному для нее образу жизни, — продолжал Благодатский: — Вероятно, она возвращалась к нему, держалась его, пока не почувствовала опять, что ее здоровье расстраивается; увидев это, она, после некоторого колебания, вероятно, вступила в новые отношения. — Так?

— Так, в это время уж сам брат говорил ей: «да что, Лиза, нечего тебе беречь свою репутацию; а на меня ты всегда можешь надеяться, что я не дам родным приставать к тебе с увещаниями, если бы слухи дошли до нашего гнезда». — Разумеется, и нельзя стало скрывать от них, потому что у нее родился ребенок. Брат, когда писал им об этом, прибавил решительным тоном, что хоть это и несогласно с их нравами, но он просит их не выражать ей своих мнений, а только продолжать любить ее попрежнему. — Отец, и, я думаю, особенно мать, были, вероятно, возмущены; но ссориться с сыном не захотели. — Потом брат ее вздумал жениться. Девушка, на которой он женился, была хорошая. Но родные невесты — дрянь, хоть и важные, и воображают себя умными: я знаю их, порядочная гадость. Лизавета Арсеньевна заметила, что они косятся на нее...

— Они все равно сосиялись бы на сестру жениха, если были пошлы, хотя бы она имела самую святую репутацию, — заметил Благодатский.

— Разумеется, — сказала сестра хозяйки: — Когда же дрянные родные невесты не смотрят косо на всех родных жениха? — Но вы, М-г Онуфриев, совершенно напрасно смотрите на меня, если не косо, то подозрительно: повесть не мною написана; есть очень простая причина, по которой она не может и относиться ко мне: я вышла замуж семнадцать лет.

— Когда Лизавета Арсеньевна заметила, что родные невесты брата дурно расположены к ней, — продолжала хозяйка: — она сказала брату, что будет жить отдельно, и прожила одна больше года. Брат помогал; кроме того, нашел ей работу: перевести какую-то книгу с французского. Поэтому, она жила без большой нужды; конечно, очень бедно, потому что у брата не было много денег. Потом, когда брат хорошо обжился с женою, и молодая женщина стала совершенно порядочно и неглупою, то стала сама звать Лизавету Арсеньевну жить у них. — Через несколько времени Лизавета Арсеньевна вместе с ними ездила к своим родным. Отец и сестра, особенно мать сначала несколько дичились ее; скоро это прошло, потому что они видели, как дружна с нею молодая жена ее брата.

— Потом? — спросил Онуфриев.

Хозяйка не отвечала.

— Потом ничего особенного не было, разумеется, — сказал Благодатский: — Разве то, что, может быть, у нее родился еще ребенок.

— Но, по крайней мере, вы не выставите ее историю за пример для подражания? — сказал Онуфриев.

— Так же мало, как и вашу жизнь, М-г Онуфриев, — сказала сестра хозяйки: — если не ошибаюсь, вы не женат?

— Мужчина — другое дело, — сказал Онуфриев.

— Я не сомневаюсь, — сказала сестра хозяйки.

— Не смейтесь над моими словами: то, что прощается обществом мужчине, не прощается девушке.

— Я именно с этим и согласилась, — сказала сестра хозяйки: — Поэтому, вместе с вами, я готова задушить всякую девушку, которая позволяет себе иметь отношения, хотя бы в тысячу раз более скромные и благородные, чем ваши.

— Но не сами ли женщины первые осуждают это в девушках?

— Если есть на свете сплетницы, это плохое извинение для сплетников.

Мы, женщины, учимся по вашим книгам; вы законодатели нравственности. Но знаете ли, что скажу я вам по секрету? — Кто сочиняет нравственность для других, а не для себя, тот сочиняет плохую нравственность.

— Вы приписываете мне такое мнение, которого я не высказывал. Я не осуждаю эту девушку. Я хотел только заметить, что не следует выставять ее судьбу, как нечто заманчивое.

— Не встретить жениха, за которого можно бы выйти — это ли очень завидно? — проработать лучшие годы молодости — это ли завидно? С чего же вы могли взять, что кто-нибудь станет думать: вот как надобно жить всем?

— Вы опять не так поняли мою мысль...

— Мы с тобою, душенька, так глупы, что не можем понимать, — сказала хозяйка, обращаясь к сестре: — Поэтому нам следует молчать, как я и сделала. И ты напрасно говорила.

— Обращаюсь к вам, — сказал Онуфриев Благодатскому: — Вы можете проповедывать какие угодно теории; но женились ли бы вы на девушке, у которой двое детей?

— Если не ошибаюсь, то вы могли бы не забыть, что первый ребенок родился у нее много лет после того, как она отказалась от всякой мысли о замужестве, — сказал Благодатский: — Тут вопрос не в замужестве и не в мнении нравственных людей, каковы мы с вами, тут вопрос гораздо поважнее всякой морализации: как прокормить детей? — Вот почему жизнь, которую приняла Лизавета Арсеньевна, не может служить примером для большинства несчастных, какою была она: у нее была твердая поддержка в брате.

— Я согласен с этим, — сказал Онуфриев: — Я именно это и желал заметить, когда Софья Васильевна прервала меня. Поэтому Лизавета Арсеньевна — исключение, которое не должно быть выставляемо в виде примера для других.

— Женщина, у которой нет независимого состояния и нет ни одного умного человека в числе близких родных, конечно может только жалеть о том,

что у нее нет опоры в жизни, — сказал Благодатский: — Но рассудительность и твердость характера — условия еще более важные для счастья жизни женщины ли, мужчины ли, девушки ли, вдовы ли. Кто имеет твердый характер, не пропадет.

— Я совершенно согласен с вами; я хотел сказать и это, когда Софья Васильевна перервала меня, — сказал Онуфриев: — Я не такой ретроград, каким почли меня вы, Софья Васильевна.

— Очень рада, — сказала хозяйка. — Друг мой, тебе еще много работы к завтра? — продолжала она, обращаясь к мужу.

Онуфриев взялся за шляпу. Хозяин проводил его и пошел опять в свой кабинет.

Благодатский, простившись с хозяйкою и ее сестрою, пошел к нему. — Вот у нас и есть повесть на следующую книжку.

— Прекрасно, — сказал хозяин.

Н. Мауриксв

## 2. К ПЬЕСЕ «ВЕЛИКОДУШНЫЙ МУЖ»

### ЯВЛЕНИЕ 1

Полянский (стоит опершись на раму окна локтем, перебирает пальцами по стеклу, потом начинает напевать тихо, после громче).

Я здесь, Инезилья,  
Стою под окном.  
Покрыта Севилья  
И мраком и сном.

Исполнен отвагой,  
Закутан плащом,  
С гитарой и шпагой  
Стою под окном.

Ты спишь ли? — гитарой  
Тебя разбуду;  
Проснется ли старый? — (выпрямляется)  
Мечом уложу.

Между тем входит Востронюхов, на цыпочках; останавливается подле двери, слушает. — Полянский идет по комнате; сделав несколько шагов, снова поет последние два стиха с полным пафосом самозабвения.

Проснется ли старый? —  
Мечом уложу.

(Продолжает ходить).

Востронюхов. Кхе, кхе...

Полянский (встрепенувшись). А! Вы пришли, Прохор Маркелыч!

Востронюхов. Прекрасно изволите петь, Аркадий Тимофеевич. По малой моей образованности, не могу вполне понимать всего, но слушал с таким удовольствием, что совсем заслушался.

Полянский. И понимать-то бесполезно, Прохор Маркелыч, потому что к нам это вовсе не идет. То Испания; а у нас, слава богу, Россия; то Севилья, а мы в Петербурге. Там женщины умеют любить, мужчины расправляться с врагами, а у нас это не принято.

Востронюхов. Точно-с, самоуправство у нас не одобряется-с. Все должно по закону-с. Зачем изволили требовать, Аркадий Тимофеевич?

Полянский. Рассчитаться с вами, Прохор Маркелыч. Завтра в вагон, и уезжаю из вашего прекрасного Петербурга.